

Пастернак Б. Л.

10/11 90

92/1

1990 - 10 апреля

Сегодня — 100-летие со дня рождения Б. Л. Пастернака

# «СЕСТРА МОЯ — ЖИЗНЬ...»

## ВОСПОМИНАНИЯ

В издательстве «Советский писатель» готовится к изданию сборник воспоминаний о Борисе Пастернаке. Книга такая будет выходить впервые. В нее войдут материалы, многие из которых пока еще нигде не публиковались. К ним относятся и публикуемые ниже воспоминания доктора физико-математических наук профессора Михаила Львовича Левина. Необходимо отметить, что составление, подготовка текста и комментарии к книге сделаны Е. В. Пастернак и М. И. Фейнберг.

Михаил ЛЕВИН

Ранней осенью 1942 года, приехав из Ташкента в Москву, я привез Борису Леонидовичу письма Евгении Владимировны и Жени вместе с небольшой посылкой сушеных ломтей дыни и еще каких-то сухофруктов... По телефону он назначил мне встречу у станции метро, сказав, что живет сейчас не у себя, а в доме друзей. По-видимому, он знал, что я плохо вижу, так как дотошно выспрашивал мои особые приметы, несмотря на заверения, что я сам его узнаю. И действительно узнал, хотя уже наступал пасмурный морозный вечер, а Пастернак был в низко надвинутой кепке и с поднятым воротником макинтоша. Шли недолго и молча. В комнате, куда он меня провел, горела настольная лампа и было полутемно. По контрасту с уличным молчанием меня сперва ошеломил обвал слов. Тут были и радость получения писем, и восторг предвкушения подробного рассказа, и еще что-то праздничное, но уже совсем непонятное.

Борису Леонидовичу хотелось детально узнать о жизни, быте и занятиях Евгении Владимировны и Жени, и он часто перебивал меня вопросами...

Затем пошли расспросы о писательской колонии в Ташкенте. К его удивлению, я мало кого знал лично. И он даже по-детски как-то обиделся, узнав, что я не был знаком с А. А. Ахматовой и могу рассказать о ней только с чужих слов. Зато о В. В. Иванове и его семье выспросил все... Однажды Всеволод Вячеславович проигрывал на своих сынах и на мне сочетание: «Сокровища Александра Македонского» и «Средняя Азия». Мы должны были безо всякой его подсказки придумывать разные сюжеты и варианты. Услышав про эту игру, Борис Леонидович сказал, что речь может идти, конечно, не о золоте и драгоценностях. Их бы давно разворовали, и потом это просто не интересно. Сокровища — походная библиотека Александра, составленная, может быть, Аристотелем. И в ней не дошедшие до нас трагедии Эс-



шила и Софокла, стихи, известные сейчас лишь по фрагментам, утраченные сочинения Платона и самого Аристотеля!

рая тогда еще не имела названия «Одоевск Бармаля». Сообщение Звериного, Информбюро Наши потери — Четыре тетери И эскадрон Ворон — привело Бориса Леонидовича в восторг. Тетери — это генералы? Я от-

ветил, что именно так спрашивали во всех аудиториях, где читал Корней Иванович. От малолеток до академиков на Пушкинской, 84. «Это не удивительно», — сказал Пастернак, — ибо тут абсолютно басенная точность, как у дедушки

## ПИСЬМА

Письма Бориса Пастернака — это все то же продолжение напряженной творческой деятельности крупнейшего нашего писателя. В них он отчасти проигрывает, проговаривает те мысли, которые потом в той или иной форме находят развитие в его стихах, прозе, статьях. Два письма из тех, что еще не опубликованы, мы сегодня печатаем (они войдут в книжку его писем, готовящуюся в библиотеке журнала «Огонек»). Трагические события 30-х годов, расстрел молодого литератора Владимира Силлова стали для Пастернака страшным горем. Это находит отражение в письме к вдове Силлова, ехавшей в 1935 году в Воронеж. Проблем творчества посвящено письмо к сыну — Евгению Борисовичу Пастернаку, написавшему и предисловие к этой небольшой огоньковской книжке.

О. Г. Петровской-Силловой. 22/II 35.

Оля дорогая, какая Вы умница, что догадались написать мне. Горячо благодарю Вас. Я сразу Вас увидел и Ваши большие глаза, точно вчера мы расстались. И услышал Ваш голос, — при сходстве с Володей Олег\* наверно как Вы говорит, это уже и тогда было. И хотя в немногих, ничем не неожиданных словах, — как напомнили Вы мне Володю, как разительно перенесли в дни, неотделимые от его присутствия! Рискую вызвать у Вас слезы моими случайными, необъективными словами, — не могу сдержаться. Последние дни, когда я получил Ваше письмо, и вот Вам отвечаю, — совершенно для меня — Володина, вероятно я в такое время всего чаще встречал его. Это время впервые замечаемой городской весны, когда дня прибавляется настолько, что это вдруг обнаруживаешь, и с зимней отвычки начинает поражать пустое светлое небо после обеда, когда столько месяцев подряд зажигали лампы. Весь день не закрываешь форточки, сошедший снег не заглушает шума, ощущение такое будто с домов сняли крыши, и их место на всех углах заняло целодневное замешкавшее небо. На таких улицах, вдоль черных бульваров естественно бывало встретить Володю, под тележно трамвайный грохот, оставивший от его разговора лишь легкий облик современной чистоты, передававшейся глазами, улыбкой и всею фигурой.

Я ничего не сказал, Олечка, я только хотел сказать, что это — Володина погода. Нехорошо гоняться в письмах за ощущениями большой драгоценности и последней неуловимости. Вместе с такими попытками в них взывается что-то от литературы, и притом дурной. А литература в письмах не удаляется. Тут и приходится вычеркивать. Письма надо писать в градуссах средней умеренности. Я не раз еще это правило нарушу. Доказательства явились раньше, чем я думал. Смотрите, чего не намарал я, пустившись было описывать «свою жизнь». Так когда-то писали, бывало, знакомые барышни.

Самым для меня существенным за время, что мы с Вами не видались, было мое знакомство, а теперь и дружба с двумя замечательными грузинскими поэтами, Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили. Я их очень люблю. Хотя я с ними много чего прожил, но мне от их приезда к приезду все больше кажется, что они кусок какого-то моего, совместного с ними будущего, пока нам неизвестного, что, несмотря на тесноту и нынешней нашей связи, существо ее впереди.

Мне надо было бы еще прожить лет 8—9, до Женичкина совершеннотетия: вот отчего, хотя и робко, и попевывая, чтобы не слезить, я пробую заглядывать вперед.

Мне хочется написать роман, состоящий, с сюжетом, и чтобы это было в наши дни. Я его начал, и, Олечка, как трудно писать хорошо и просто! Не поймите так, будто я думаю, что это у меня когда-нибудь выйдет! О нет. Но и забота о содер-

жательности утомляет до полоумья. Сколько всего кругом и позади, как все перемешалось. Я пишу Вам и должен напоминать себе, что между нами ничего не было, потому что временами ловлю себя на том, что пишу Вам, как писал бы с того света Жене, Зине, или еще кому-нибудь и себе самому там, позади, в жизни. О, ведь в этом-то и дело.

Оля, не в женском, не в романтическом (где его границы?), а в том, что каждый из нас был посвоему всеми остальными, что все пережито всеми вместе, каждый зара. Когда, как кажется, я напоминаю К. Н. Бугаевой Андрея Белого, дело не в ней и в нем и не во мне, — это частности. А в том, что это с нами со всеми, что такова огромная односемейная жизнь человечества, что я всегда это знал, и для того жил. И Вы правы насчет Олега. То же и в маленьком Жене. Растет замечательный друг мне, если я успею, если доживу. Способны ли Вы это понять без мистики, со страстью факта, скажем просто: живо, по-советски? Потому что на этом я хочу построить свою советскую современную вещь. Всю на фабуле, без философии.

Я остался таким же, как был. Весь я, как есть, в утверждениях предыдущей страницы. Только это — я, и жаль, что это нельзя вписать в паспорт вместо возраста, еврея и прочего — вещей фантастических, спорных, горько-непонятных.

Я ни капельки не изменился, но положение мое морально переменилось к худшему. Где-то до съезда или на съезде была попытка, взамен того точного, чем я был и остался, сделать из меня фигуру, арифметически ограниченную в ее выдуманной и бездарной громадности, километровой и пудовой. Уже и тогда я попал в положение, нестерпимо для меня ложное. Оно стало теперь еще глупее. Кандидатура проваливается: фигура не собирается, не хочет и не может быть фигурой. Скоро все обернется к лучшему. Меня со скандалом разоблачат и проработают. Я опять вернусь к равенству с собой, в свою геометрическую реальность. Только бы дожить до Жениной зрелости, допи-

Крылова. И строки эти, конечно, навсегда останутся в нашей литературе».

Рассказывал я и о другом чтении — пьесе А. Н. Толстого про Ивана Грозного, сочиненной в соответствии с тогдашним направлением умов. Она была шумно одобрена и писателями, и историками.

— Неужели никто не остался верен Алексею Константиновичу Толстому? — спросил Пастернак. «Один только С. Б. Веселовский». Борис Леонидович раньше не слышал об этом замечательном нашем историке, а мне посчастливилось быть его собеседником, точнее, слушателем в Ташкенте. Пастернак потребовал пересказа. Достоверность и выпуклость подробностей Опричины и Смуты — даже в моем переложении — мучительно приворожили Бориса Леонидовича. Он не давал мне комкать рассказ, переспрашивал имена и страшные цифры. И сейчас, каждый раз раскрывая книгу С. Б. Веселовского, напечатанные уже после смерти Пастернака, я снова вижу перед собой возбужденное лицо Бориса Леонидовича, переживающего дела почти четырехсотлетней давности как события, случившиеся вчера.

Еще в середине рассказов и расспросов время стало приближаться к комендантскому часу. Борис Леонидович попросил остаться, предложил переночевать на диване. Потужили холодными картофелинами и несколькими ломтиками хлеба. Чаю из термоса Пастернак нарезал ровными квадратиками пластину сушеной дыни, и я подивился прозекторской верности его ножа.

Утром Борис Леонидович спохватился и стал расспрашивать о моих обстоятельствах и планах. При упоминании о работе на романспектографе в Карповском институте он очень заинтересовался сутью дела, а потом сказал, что в молодости знал А. Я. Карпова... Но не стал распространяться, и мне показалось, что эти слова предназначались не мне, а были меткой каких-то воспоминаний.

В передней Борис Леонидович стал подавать мне пальто. Бормоча: не надо! не надо! — я пытался его отнять, потом не попадал в рукава и ушел в полном смятении, толком не попрощавшись.

За год или за два до смерти Сталина я приехал в зимние каникулы на несколько дней из Тюмени в Москву. Мой паспорт внешне выглядел вполне пристойно, но нарваться не стоило, и я ночевал каждый раз на новом месте. Поэтому однажды Миша и Кома Ивановы отвезли меня в Переделкино и поме-

стили на дачу, где в одиночестве маялся И. А. Андроников. Из-за поврежденной ноги он не мог выходить наружу и очень страдал без человеческого общества. Разговор затянулся до поздней ночи. Говорил, конечно, в основном он и больше всего о Лермонтове, а я наслаждался его рассказами.

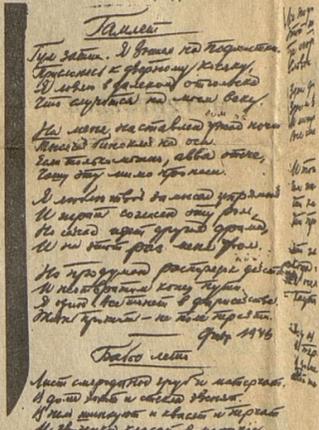
Утром на улице я встретил Бориса Леонидовича, удивившегося моему появлению в Переделкине. Объясняясь, я коснулся рассказа Андроникова, и Борис Леонидович сказал, что Лермонтов — единственный писатель, которого он прочитал всего подряд еще мальчиком в иллюстрированном издании, вышедшем под наблюдением Л. О. Пастернака. И Лермонтов явился весь сразу, как море при повороте горной дороги.

Борис Леонидович справился о моей матери, наглухо исчезнувшей после ареста в 1948 году. Эта история тогдашней жизни мучила его, как мне кажется, всегда. Еще раньше, когда я сам после освобождения первый раз встретился с Борисом Леонидовичем, он с множественством извинений выспрашивал подробности следствия, тюрем и шарги. Спрашивал он и о тюремных стихах. Он считал их средством сохранения памяти и сравнивал с поэзией бесписьменных народов. И добавил, что это относится именно к стихам нашего времени, потому что в прошлом веке одному лишь Шевченко запретили писать, а скажем, Кюхельбекер исписывал в Свеаборгской крепости одну сотню листов за другой.

Отвечая на вопросы Пастернака о жизни в Тюмени, я поведал главную тайну, которой тщеславились горожане. В начале войны в Тюмень вывезли саркофаг Ленина и вместе с ним отца и сына Збарских. Оба жили под видом обычных эвакуированных, и для пущей маскировки начальство распространяло слухи, что у них неприязнь из-за подпольной частной деятельности.

Сравнение Лермонтова с морем вызвало у меня воспоминание о летнем переходе из Домбая в Сухуми, когда за Клухорским перевалом я впервые увидел такое большое море. В это лето я познакомился в Домбае с В. А. Карповым.

Тут неожиданно для меня произошел кумулятивный эффект. Вдруг Борис Леонидович почти закричал, что он и я во времени, по окружению и обстоятельствам принадлежим к абсолютно разным планам. В жизни у нас было всего пять-шесть встреч. И однако я столько раз ступал в оставленный им след.



Медаль лауреата Нобелевской премии, присужденная Б. Пастернаку в 1958 году и врученная 9 декабря 1989 года в Стокгольме его сыну Евгению Борисовичу.

сать бы только вещь. Целую Вас и Олега. Спасибо, что написали. Будете в Москве, обязательно заходите. И хорошо бы застали Табидзе и Яшвили. Я Вас с ними познакомлю. С Женей большой говорили о Вас накануне получения Вашего письма. Я у ней часто бываю. Вот ее адрес: Тверской бульвар, д. 25, кв. 7. Мандельштамам кланяться. Они замечательные люди. Он художник неизмеримо больший, чем я. Но, как и Хлебников, того недостижимо отвлеченного совершенства, к которому я никогда не стремился. Я никогда не был ребенком, — и в детстве, кажется мне. А они... Впрочем, верно я несправедлив. Черкните мне, Оля.

Ваш Б. П.

Е. Б. Пастернаку. 12/VII 54.

Дорогой Женя! Тебя нельзя оставлять без письма. Мама расскажет тебе о нашем разговоре и насколько не будет виновата, если оставит тебя в неясности насчет моего мнения о твоих стихотворениях. Она не могла вывести из моих слов ничего определенного потому, что никакой определенности они не заключали.

Мне понравился язык твоих стихов. Это лучшая их сторона. Язык тот естественнее и свободнее, чем он бывает у начинающих, любителей, непрофессионалов.

В остальном мои представления слишком далеки от общепринятых, чтобы не только судить о чьих-нибудь попытках, тем более сыновних, в художественной области, но вообще заговаривать с кем бы то ни было, даже отвлеченно, без личностей, на общестетическую тему.

Например, когда какие-то годы жизни шли у меня в сопровождении Тютчева, или меня сводил с ума Лермонтов, мне никогда не приходило в голову, что еще лучше бы она шла под целый хор Тютчевых или при участии десяти Лермонтовых. Напротив, я радовался их единственности и немногочисленности, а не вынужденно мирился с ней. Эта единственность требовалась мне, входила в состав моего ощущения, моего наслаждения их символиче-

ской силой, их условностью. А Маяковскому требуются все эти другие. Ему хотелось, чтобы поэтов было «много и разных». Мне это так же непонятно, как если бы он хотел, чтобы на земле было много солнц или у него самого было как можно больше разных сознаний.

Всю жизнь я вожу с собой уместающийся на одной полке отбор любимых, без конца перечитываемых книг. Однако и среди этих немногих с годами оказываются лишние. А Горький считал целесообразным разводить не только цветную капусту и кроликов, но еще и молодых писателей. Отсюда и институты его имени. Это мне тоже непонятно.

Вот видишь, с какими странностями связаны мои суждения, как я в этой области не свободен. И всего охотнее я уклонился бы от этих разговоров, увильнул бы от них.

Когда бог даст, мы в следующий раз увидимся, я обязательно общусь с тобой и то, что ты пишешь и мои теоретические взгляды на искусство, совершенно необязательные для тебя и ненужные, потому что ты видел только что, как они расходятся с такими серьезными авторитетами. Но сделаем это в устном разговоре. На бумаге это заводит в немислительные дебри. У меня было две попытки ответить тебе, два неоконченных трактата, которые в раздражении на самого себя я уничтожил.

Нет, нет, это надо будет при встрече сделать лично. А пока времени. И не выводи из этих умолчаний ничего дурного. Твои стихи многим нравятся, я слышал похвалы им со стороны. Но я в совершенно другом положении. Любителей и знатоков поэзии я никогда не любил. Мне доставало их нечистоты и веры в то, что область их пристрастий реально существует. Их почва я под собой никогда не чувствовал. Будь здоров. Крепко целую тебя. Как всегда, я очень занят, здоров, хорошо себя чувствую.

Кланяйся маме и поцелуй ее. Я без напоминания пошлю ей денег — через месяц, в середине августа. Если потребуются раньше, известите.

Твой папа.



Похороны Б. Пастернака. Переделкино, 2 июня 1960 года.

173